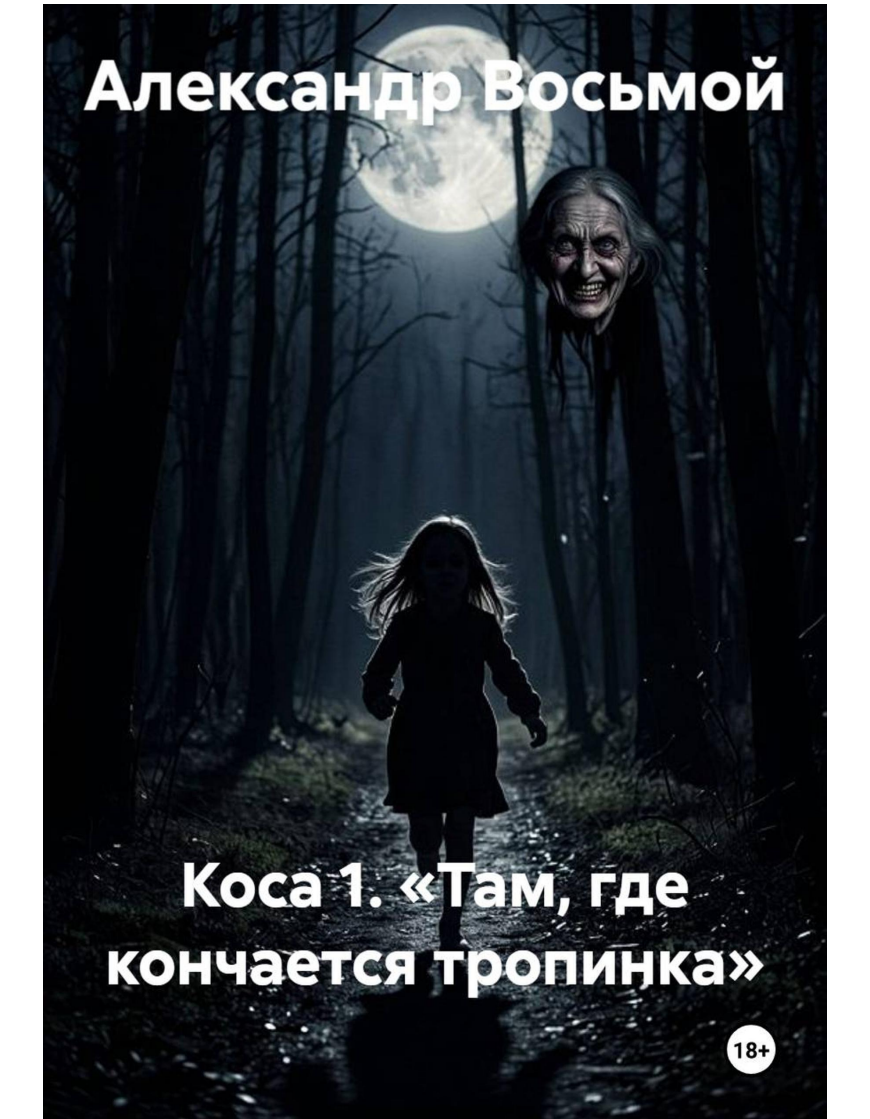




Александр Восьмой

**Коса 1. «Там, где
кончается тропинка»**

18+

Александр Восьмой

Коса 1. «Там, где кончается тропинка»

<https://litres.ru/74542709>

SelfPub; 2026

Аннотация

В деревне, которую нет ни на одной карте, дети знают правило: никогда не ходи по тропинке, которая появляется только в полнолуние. Та тропинка уводит в лес, где деревья шепчут по-человечьи, а на ветвях сушатся головы тех, кто нарушил запрет. Но однажды ночью семилетняя Маша побежала по ней — потому что в конце тропинки стояла её умершая бабушка и манила рукой. С тех пор Маша вернулась. Только глаза у неё стали цвета мокрого асфальта, и она больше не спит.

Александр Восьмой

Коса 1. «Там, где кончается тропинка»

Глава 1. Деревня, которой нет

Деревня Сосновый Овраг не значится ни на одной карте. Геодезисты, проезжавшие через эти места дважды, не находили ничего — только бурьян и овраг, заросший папоротником. Но деревня есть. Двадцать семь домов, колодец с чёрной водой, церковь без креста. И правило, которое матери вплетают в колыбельные раньше, чем ребёнок научится говорить: не ходи по тропинке, что появляется в полнолуние.

В ту ночь луна висела над лесом, как серебряный клинок, и воздух был густ, будто его можно было резать ножом. Тени от деревьев ползли по земле, сплетаясь в узоры, которых не бывает в природе. Дети прижимались к окнам, чувствуя, как холод пробирается сквозь стекло, а взрослые крепче сжимали в руках кресты, ножи, старые иконы — всё, что хоть немного походило на защиту.

Семилетняя Маша сидела на краю кровати, сжимая в кулачке лоскуток от бабушкиного платка. Бабушка умерла три месяца назад, и с тех пор дом казался пустым и слишком большим. В ту ночь тишина стала такой плотной, что в ней начали проступать звуки: шёпот листвы, похожий на чьи-то

имена, скрип невидимых ступеней, тихий зов, который будто бы звучал не снаружи, а прямо внутри головы.

И вдруг за окном возникла тропинка. Она не была здесь минуту назад. Её не было никогда — и вот она появилась, словно кто-то провёл по земле светящейся линией. По краям тропинки колыхались высокие травы, и в их шелесте слышалось: «Иди... иди...»

На дальнем конце тропинки, у самой кромки леса, стояла фигура. Тонкая, сторбленная, в знакомом платке с выцветшими цветами. Бабушка. Она смотрела прямо на Машу и медленно манила рукой — один раз, второй, третий. В её жесте не было угрозы, только тихая настойчивость, от которой у девочки сжималось сердце.

Маша не помнила, как встала. Не помнила, как открыла скрипучую дверь, как ступила на тропинку. Только почувствовала, как земля под ногами стала чужой — будто не земля вовсе, а тонкая корка над чем-то тёмным и глубоким. Трава цеплялась за подол, словно пыталась удержать. Но зов был сильнее.

Лес встретил её шёпотом. Деревья склонялись друг к другу, и их ветви сплетались в арки, будто кто-то нарочно построил здесь лабиринт. На некоторых ветвях висели странные предметы: тряпичные куклы с пустыми глазами, старые ключи, потемневшие от времени, и... что-то ещё, что Маша старалась не разглядывать. Потому что краем глаза она видела очертания, слишком похожие на человеческие головы.

Бабушка шла впереди, не оборачиваясь. Её шаги были бесшумны, будто она не касалась земли. Маша бежала следом, чувствуя, как страх смешивается с облегчением: бабушка вернулась, она здесь, она ведёт её куда-то, где всё будет хорошо.

Когда они вышли на поляну, луна осветила лицо бабушки — и Маша замерла. Глаза у старушки были не такими, как раньше. Они были цвета мокрого асфальта — холодные, пустые, без зрачков. И в них не было ни любви, ни узнавания. Только ожидание.

— Ты пришла, — прошептала бабушка, и её голос звучал так, будто шёл не из горла, а из самой темноты вокруг. — Теперь ты тоже будешь ждать.

Маша хотела закричать, но голос застрял в горле. А когда она наконец смогла выдохнуть хоть звук, бабушка уже исчезла. Осталась только тропинка — и теперь она вела обратно.

Обратно в деревню, которая не значится ни на одной карте.

Обратно — но уже не той, кем была раньше.

С тех пор Маша вернулась. Только глаза у неё стали цвета мокрого асфальта, и она больше не спит. По ночам она садится у окна и смотрит на лес, будто ждёт, когда тропинка появится снова. И иногда — совсем тихо — шепчет что-то в ответ на шёпот деревьев.

Дом стоял на самом краю деревни, там, где земля будто обрывалась в тишину. С одной стороны — огороды, с другой — сразу начинался овраг, густой и тёмный, будто проглатывающий даже лунный свет. В этом доме жили трое: мать, старший брат и Маша. И ещё — память о бабушке Дарье, которая прошлой осенью ушла так, что взрослые теперь говорили о ней только шёпотом, а если и называли имя, то тут же крестились.

Говорили, что она задушилась в петле из крапивы — жёсткой, колючей, будто сама земля подсказала ей эту смерть. Но Маша знала другое: бабушка не ушла просто так. Она три ночи подряд сидела у кровати девочки, склонившись так низко, что её седые волосы касались Машиного лба, и пела странную песню — не ту, что поют детям, чтобы они уснули, а ту, от которой сон будто убегал прочь, прятался в углы и дрожал там, как загнанный зверёк.

— Про тропу, про луну, про то, что «вернётся та, что ушла по корням», — шептала бабушка, и её голос звучал не как раньше — тёплый и пахнувший хлебом, а чужой, будто кто-то другой говорил её губами. — Запомни, Машенька. Запомни каждое слово. Они тебя сберегут... или погубят. Смотря кто услышит.

Маша запомнила. Каждое слово — в строчку, без пропусков, как будто вырезала их в памяти ножом. Днём она прятала эти слова глубоко внутри, боялась даже подумать о них, чтобы не выпустить случайно наружу. Но по ночам они сами

всплывали, звенели в голове, как ледяные колокольчики.

После той ночи на тропинке Маша вернулась. Только теперь она не спала. Совсем. Мать думала, что это от горя, от страха, от того, что ребёнок пережил слишком много. Она гладила Машу по волосам, шептала: «Спи, родная, спи», — но девочка только смотрела на неё глазами цвета мокрого асфальта — холодными, блестящими, будто в них отражалась не комната, а что-то далёкое и чужое.

Брат, который раньше таскал её на плечах и обещал, что никого не даст в обиду, теперь старался не оставаться с ней наедине. Он чувствовал, как от сестры тянет не детским теплом, а чем-то древним и колючим, как запах сырой земли после дождя.

Однажды вечером, когда сумерки легли на деревню плотным покрывалом, мать села у окна и тихо запела обычную колыбельную — про зайчика, про звёздочку, про тихий сон. Маша сидела на краю кровати, не шевелясь, и слушала. А когда мать закончила, девочка вдруг подняла голову и сказала голосом, в котором не было ни детской мягкости, ни дрожи: — Это не та песня.

Мать вздрогнула, будто её коснулись ледяной рукой.

— Что ты сказала, доченька?

— Не та, — повторила Маша, и в её глазах мелькнуло что-то, чего не должно быть в глазах семилетнего ребёнка — знание, тяжёлое и старое, как камень. — Бабушка пела другую. Про тропу. Про луну. Про ту, что ушла по корням.

И прежде чем мать успела что-то сказать, Маша запела.

Её голос был тихим, почти шёпотом, но слова ложились в воздухе, как тяжёлые капли, и застывали там, превращаясь в тени. Деревья за окном будто наклонились ближе, прислушиваясь. Овраг вздохнул. Даже ветер, который обычно шумел в кронах, замер, словно боялся спугнуть эти звуки.

Когда песня закончилась, в комнате стало холоднее. Мать сидела, прижавшись спиной к стене, и смотрела на дочь так, будто видела её впервые. А Маша улыбнулась — не радостно, не по-детски, а как будто вспомнила что-то важное.

— Теперь она знает, что я здесь, — сказала девочка, глядя в темноту за окном. — И скоро придёт.

В ту же ночь, ровно в полночь, когда луна поднялась над лесом, на краю оврага снова появилась тропинка. Тонкая, светящаяся, будто нарисованная чьей-то невидимой рукой. Она манила, звала, шептала именами тех, кто уже ушёл по ней.

Маша встала с кровати, не разбудив никого, и подошла к окну. Её пальцы легли на стекло, и на мгновение показалось, что с той стороны кто-то приложил ладонь — точно так же, зеркально.

Она знала, что нельзя идти. Знала правило. Но песня, которую она спела, была не просто словами — это был зов. И теперь тропинка ждала именно её.

Тихо, чтобы скрип половиц не разбудил мать, Маша открыла дверь. Холод ворвался в дом, как живое существо, и

пробежал по полу, цепляясь за углы. Девочка шагнула наружу.

Тропинка приняла её.

А в доме, оставшемся позади, мать вдруг проснулась от ощущения, будто кто-то резко дёрнул её за сердце. Она вскочила, бросилась к кровати — и увидела, что Маша исчезла. Окно было приоткрыто, и ветер шевелил занавеску, словно кто-то только что прошёл сквозь неё.

На полу, у самой двери, лежала тряпичная кукла с пустыми глазами — та, что раньше стояла на полке. Маша никогда её не брала.

Но теперь кукла лежала здесь. И её руки были повернуты так, будто она указывала в сторону оврага.

Туда, где тропинка всё ещё светилась в темноте, маня впереёд. Туда, где деревья снова начали шептать — теперь уже по имени.

Глава 3. Тропа, что рождается в полнолуние

Ночь полнолуния накрыла деревню плотным, тяжёлым покрывалом. Луна висела в небе, огромная и белая, будто вырезанная из кости древнего зверя. Её свет не грел — он выбеливал всё до безжизненности, делал тени густыми и маслянистыми, а привычные очертания домов превращал в нечто чужое, настороженное.

Земля у оврага дрогнула. Сначала это был едва уловимый толчок — такой, что его можно было принять за сон или за

стук собственного сердца. Потом по склону пробежала тонкая трещина, словно кто-то провёл по земле ногтем. Из этой трещины медленно, с тягучим шорохом, выползла тропинка.

Она была узкой, будто протоптанной не ногами, а чем-то тонким и острым. Её поверхность казалась присыпанной золой, но стоило приглядеться — и становилось ясно, что это не пепел, а какая-то странная пыль, мерцающая в лунном свете. Пахла тропинка странно: медью — как будто рядом пролилась кровь — и мёдом, сладким, густым, почти тошнотворным. Этот запах проникал в ноздри, оседал на языке, заставлял сердце биться чаще.

В деревне стихли все звуки. Даже собаки, которые обычно лаяли на ветер, теперь жались к стенам, поджимали хвосты и смотрели в сторону оврага круглыми, полными ужаса глазами. Люди запирались на все засовы, затыкали щели тряпками, старыми платками, мешковиной — лишь бы не слышать шёпота, который начинал ползти из леса задолго до того, как появлялась тропа.

Чаша-Говорунья не молчала никогда. Но в ночь полнолуния её голос становился особенно ясным — и особенно опасным. Деревья там шептали по-человечьи, и в их бормотании можно было разобрать обрывки фраз, имена, мольбы, проклятия. Говорили, что если прислушаться слишком внимательно, лес начнёт отвечать — и не словами, а воспоминаниями, самыми тёмными и стыдными.

Все знали: тропа ведёт в Чашу-Говорунью. И оттуда не

возвращаются. Или возвращаются — но уже не те. В деревне шептались о тех, кто ушёл по тропе и вернулся через несколько дней, будто ничего не случилось. Они говорили тем же голосом, улыбались той же улыбкой, но в их глазах не было отражения — только пустота, в которой шевелилось что-то чужое.

Маша стояла у окна. Она не спала — она вообще больше не спала. Её глаза цвета мокрого асфальта ловили лунный свет и будто впитывали его, становясь ещё темнее, ещё глубже. Она знала, что тропа появилась. Чувствовала это всем телом — как будто земля позвала её по имени, и зов этот отозвался где-то в груди, между рёбрами, острой, сладкой болью.

Мать спала, свернувшись клубочком, как будто пыталась стать маленькой и незаметной. Брат лежал на лавке, натянув одеяло до самого подбородка. Дом казался тёплым и безопасным — но для Маши он стал клеткой. Потому что за окном была тропа, и она манила.

Девочка тихо, стараясь не скрипнуть половицей, подошла к двери. Пальцы скользнули по холодному металлу засова. Секунда — и тяжёлый брус сдвинулся. Дверь приоткрылась, и в дом ворвался запах меди и мёда, густой и настойчивый.

Тропа ждала.

Маша шагнула наружу. Земля под ногами была тёплой — неестественно тёплой, будто под ней тлел огонь. Зола прилипала к подошвам, и каждый шаг оставлял лёгкий след, ко-

торый тут же начинал мерцать, будто тропа запоминала её.

Деревья у края леса склонились, образуя арку. Их ветви сплетались, шуршали, шептали. Слова были неразборчивы, но смысл угадывался: «Ты пришла... ты пришла... наконец-то».

Маша шла вперёд, и с каждым шагом её сердце билось всё спокойнее, будто привыкало к этому странному ритму ночи. Она не боялась — страх остался там, в доме, вместе с матерью и братом. Здесь, на тропе, было другое чувство: предвкушение, смешанное с тоской по чему-то давно забытому.

Когда она дошла до арки из ветвей, деревья разом замолчали. Тишина стала такой плотной, что в ней можно было утонуть. И в этой тишине прозвучал голос — не шёпот леса, а человеческий, знакомый до боли:

— Ты помнишь слова, Машенька?

Бабушка стояла под сенью деревьев. Её фигура казалась полупрозрачной, будто сотканной из лунного света и теней. Платок с выцветшими цветами был повязан так же, как при жизни. Но глаза... глаза были такими же, как у Маши — цвета мокрого асфальта, пустые и глубокие.

— Я помню, — тихо сказала Маша. — Я спела их.

Бабушка кивнула, и в этом движении не было ни радости, ни упрёка — только неизбежность.

— Тогда ты готова, — прошептала она. — Чаша-Говорунья ждёт.

И она протянула руку.

Маша взяла её. Кожа бабушки была холодной, но не как лёд — а как земля глубокой ночью, когда солнце давно ушло и не собирается возвращаться.

Они шагнули под свод ветвей — и лес принял их.

С этого мгновения тропа перестала быть просто дорогой. Она стала голосом, памятью, судьбой. И каждый, кто слышал её шёпот, понимал: вернуться можно. Но прежним — никогда.

Глава 4. Бабушка на том конце тропы

Луна висела над деревней, как застывший крик — белая, острая, бездушная. В её свете даже тени казались тяжелее, будто наливались свинцом и тянули всё живое вниз, к сырой земле. Маша стояла у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. За стеклом мир стал другим — не тем, что она знала днём, когда солнце грело крыши, а куры важно расхаживали по двору. Теперь всё было натянуто, как струна, и вот-вот должно было лопнуть.

В конце тропинки, там, где лес смыкался в чёрный туннель, стояла бабушка Дарья. Живая. Настоящая. По крайней мере, так казалось Маше. Платок с выцветшими цветами был повязан ровно так, как она носила его всегда — чуть набок, чтобы не спадал. На лице — мягкая улыбка, знакомая до каждой морщинки. Она манила рукой — легко, будто звала попробовать варенье, а не шагнуть в бездну.

Маша не думала. Не взвешивала. Не вспоминала правило,

которое вбивали в голову с младенчества: «Никогда не ходи по тропинке, что появляется в полнолуние». В эту секунду правило казалось чем-то далёким, придуманным для других детей — не для тех, у кого бабушка стоит в конце тропы и улыбается.

Девочка выскользнула из дома бесшумно, как тень. Дверь скрипнула едва слышно — и этот звук тут же утонул в гулкой тишине ночи. Маша бежала босиком, в одной ночной рубашке, тонкой, почти прозрачной в лунном свете. Зола на тропинке липла к ступням, но не жгла. Крапива, обычно злая и колючая, не цеплялась за ноги — будто расступалась перед ней. Корни, торчавшие из земли, словно нарочно прятались, чтобы не сбить девочку с шага.

Деревья по бокам тропы склонялись — не от ветра, а будто кланялись. Их ветви тихо шелестели, и в этом шёпоте слышалось не проклятие, а что-то похожее на почтение: «Она идёт... она идёт... та, что должна прийти».

Маша бежала, и с каждым шагом мир вокруг становился всё более нереальным. Воздух густел, как мёд, и дышать становилось труднее, но страх не приходил. Вместо него было странное чувство — будто она наконец-то делает то, для чего родилась. Будто эта ночь, эта тропа, эта бабушка — всё это ждало именно её.

Когда Маша подбежала к бабушке, та наклонилась, раскрыла объятия — и девочка уткнулась в знакомый запах: сушёных трав, старого дерева, чего-то бесконечно родного.

— Я знала, что ты придёшь, — прошептала бабушка, глядя её по волосам. Голос был тёплым, как раньше, но в нём теперь звучала ещё какая-то глубина, будто слова рождались не во рту, а где-то гораздо глубже — в самой земле, в корнях, в темноте под лесом. — Ты ведь помнишь песню?

Маша кивнула, не поднимая головы. Слова песни жили в ней, как что-то живое, пульсирующее в такт сердцу.

— Тогда ты готова, — сказала бабушка, и улыбка её стала чуть шире, но в ней уже не было прежней доброты. В ней появилось что-то древнее, холодное, как лунный свет. — Чаша-Говоруня хочет услышать твой голос.

Она взяла Машу за руку. Пальцы бабушки были тёплыми — слишком тёплыми для той, что давно должна была остыть. И в этом тепле чувствовалась сила, от которой по спине девочки пробежал не холод, а что-то вроде предвкушения.

Они шагнули под свод деревьев, туда, где тропа превращалась в чёрный туннель. Ветви сомкнулись за их спинами, отрезая путь назад. Шёпот леса стал громче, теперь он складывался в слова — имена, забытые истории, чьи-то мольбы. Деревья тянули к ним ветви, будто хотели коснуться, убедиться, что они настоящие.

На одной из веток, высоко, почти скрытая листвой, висела старая тряпичная кукла. На другой — потемневший ключ. А чуть дальше, в полумраке, угадывались очертания, от которых хотелось зажмуриться: что-то округлое, сухое, с пустыми глазницами. Головы тех, кто нарушил запрет. Но бабуш-

ка шла вперёд, уверенно, будто знала каждую кочку, каждый корень. И Маша шла за ней, крепко держась за тёплую руку.

Тропа вела их всё глубже, туда, где земля становилась мягче, а воздух — тяжелее. Где шёпот деревьев сливался в один голос — низкий, гулкий, похожий на дыхание огромного существа. И где в самом сердце Чащи-Говоруны их уже ждали.

Не люди. Не звери. А то, что жило здесь задолго до появления деревни, задолго до рождения Маши, задолго до смерти бабушки Дарьи. То, что питалось голосами, воспоминаниями, страхами — и теперь хотело услышать голос Маши.

И когда они вышли на поляну, окружённую деревьями, чьи стволы казались сплетёнными в единую стену, бабушка остановилась. Она посмотрела на Машу — и в её глазах, таких же цвета мокрого асфальта, как у девочки, вспыхнуло что-то, похожее на торжество.

— Пой, Машенька, — тихо сказала она. — Пой ту песню. Пусть они услышат.

Маша открыла рот — и из него полились слова. Не детские, не простые, а те самые, что бабушка пела ей три ночи подряд. И с каждым звуком лес отзывался: деревья вздрагивали, корни шевелились под землёй, тени становились плотнее, обретали форму.

Песня лилась, и мир менялся.

А когда она закончилась, бабушка улыбнулась — уже не как бабушка, а как кто-то гораздо старше и мудрее.

— Теперь ты одна из нас, — прошептала она. — Теперь

тропа знает твой голос. И будет звать.

Маша посмотрела на свои руки — и вдруг поняла, что больше не чувствует холода. Что её глаза, если заглянуть в них, отражают не луну, а что-то гораздо более глубокое и тёмное. Что она вернулась — но не туда, откуда ушла.

Тропа уже не вела обратно. Она вела только вперёд.

Глава 5. Чаща-Говорунья

Лес, в который не залетают птицы, встречал Машу беззвучной яростью. Даже ветер, пробираясь сквозь кроны, будто боялся шуметь — он скользил по ветвям, не шевеля листьев, и уносился прочь, словно спешил покинуть это место. Здесь не пели соловьи, не трещали дрозды, не шуршали в траве мыши. Тишина была не доброй, а насторожённой — как перед грозой, когда воздух густеет и становится тяжёлым от ожидания беды.

Деревья шептали. И это был не обычный лесной шёпот — не игра ветра и не скрип коры. Это были голоса. Человеческие. Они сплетались в гул, похожий на далёкий разговор в переполненной комнате, где каждый говорит о своём, и слова сливаются в неразборчивый хор.

— Воды... дайте хоть каплю... — стонал один голос, сухой и трескучий, будто исходил из пересохшего горла.

— Мама... мама, я здесь... — звал другой, детский, тонкий, от которого у Маши внутри что-то сжималось.

— Иван... ты слышишь меня? Иван, ответь! — выкрикивал третий, отчаянно, до хрипа.

А где-то в стороне, совсем близко, раздался короткий, звонкий смех — такой, каким смеются дети, гоняясь друг за другом по двору. Только в этом смехе не было радости. В нём звенела пустота.

Маша шла вперёд, не поднимая глаз выше уровня груди. Она знала: если посмотрит выше — увидит то, что нельзя видеть. И всё же краем глаза она замечала очертания на нижних ветвях. Мумифицированные головы. Высохшие, обтянутые тёмной, почти чёрной кожей. У некоторых рты были раскрыты, будто в последнем крике, у других — застыли в безмолвной мольбе. А глаза... глаза у всех были открыты. Пустые, выцветшие, но такие, будто они до сих пор что-то высматривают в полумраке леса.

Она не оборачивалась. Бабушка строго-настрого запретила:

— Обернёшься — станешь одной из них. Тропа не любит, когда на неё оглядываются. Она считает это приглашением.

И Маша верила. Не потому, что была послушной, а потому, что чувствовала: стоит только задержать взгляд на одной из этих голов — и что-то внутри неё щёлкнет, как сломанный замок, и она уже не сможет идти дальше как прежде.

Она станет частью этого шёпота, этого леса, этого вечного ожидания.

Бабушка Дарья шагала впереди, лёгкая, будто не касалась земли. Её шаги не оставляли следов на мягкой, пружинистой почве, покрытой слоем прелой листвы и странного сероватого мха, который светился в темноте тусклым, болезненным светом. Маша же оставляла отпечатки босых ног — и они тут же темнели, будто земля впитывала её тепло.

Тропа петляла, уводя всё глубже, туда, где стволы деревьев становились толще, а их корни вылезали наружу, сплетаясь в причудливые узоры, похожие на когтистые лапы. Иногда корни будто шевелились, когда Маша проходила мимо, — не резко, а едва заметно, как вздрагивают мышцы у спящего зверя.

— Не смотри по сторонам, — тихо бросила бабушка, не оборачиваясь. — Лес питается вниманием. Чем дольше смотришь — тем крепче он держится.

Маша сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Боль была хорошей — она напоминала, что она ещё здесь, что она ещё сама по себе, а не часть этого шёпота.

Вдруг из темноты справа раздался голос, прозвучавший так чётко, будто говоривший стоял прямо за её плечом:

— Девочка... маленькая девочка... ты ведь не хотела сюда идти, правда? Тебя обманули. Повернись. Посмотри на меня. Я знаю, кто ты.

Маша стиснула зубы и ускорила шаг.

— Я не слушаю, — прошептала она себе под нос. — Я не слушаю.

— Конечно, слушаешь, — ответил голос уже с другой стороны, насмешливо, почти ласково. — Ты ведь любишь слушать. Ты любишь истории. А у меня их столько, что хватит на всю твою жизнь. И на все жизни после неё.

Впереди бабушка остановилась. Её фигура на мгновение расплылась, будто растворяясь в сумраке, а потом снова стала чёткой. Она повернулась к Маше, и в её глазах цвета мокрого асфальта мелькнуло что-то, чего девочка раньше не видела — не доброта, не забота, а холодное, расчётливое знание.

— Почти пришли, — сказала бабушка. — Там, в сердце Чащи, живёт Тот, Кто Слушает. Он собирает голоса. И теперь он хочет твой.

Маша почувствовала, как земля под ногами дрогнула — не как при землетрясении, а будто вздохнула. Глубоко, тяжело, словно огромный спящий зверь пошевелился под корнями.

— Зачем? — тихо спросила Маша, и её собственный голос прозвучал в этом лесу странно — будто его тут же подхватили и пересказали на свой лад десятки невидимых собеседников.

— Потому что твой голос особенный, — ответила бабуш-

ка, и на этот раз в её улыбке не было ничего от прежней бабушки. — В нём есть память. В нём есть песня, которую нельзя забыть. Тот, Кто Слушает, хочет её услышать. И когда он её услышит... ты станешь частью леса. Навсегда.

Маша остановилась. Впервые за всю дорогу она замерла, чувствуя, как шёпот деревьев становится громче, настойчивее, будто они пытались заполнить ту тишину, которая возникла между её вопросом и ответом бабушки.

— А если я не хочу? — прошептала девочка, и эти слова прозвучали в Чаще-Говорунье как вызов.

На секунду лес затих. Даже шёпот стих, будто кто-то приложил палец к губам всей роще.

Бабушка медленно покачала головой:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.